

Ремонт, конечно, справедливо сравнивают с пожаром. Но, оказывается, бывает от него и прок — причем не только в виде итоговых белоснежных стен... Разбирая после ремонта завалы скопившегося за долгие годы бумажного хлама, вдруг наткнулся на эти пожелтевшие листочки. Боже мой — это же рукопись Евгения Габриловича, отпечатанная на его подклеповатой машинке, правленая его вездливо-мелким почерком.

В последние годы жизни Евгения Иосифовича мы частенько перезванивались. Он жил в Доме ветеранов кино в Матвеевском, болел, плоховато себя чувствовал, был, по сути, отрезан от большого кинематографа, которому отдал всю свою жизнь. Выдающийся кинодраматург, может быть, самый лучший, самый знаменитый сценарист за всю столетнюю историю отечественного кино, человек, причастный к рождению таких шедевров, как "Последняя ночь" и "Мечта", "Два бойца" и "Коммунист", "Машенька" и "Твой современник", "Убийство на улице Данте" и "Объяснение в любви", "Начало" и "В огне брода нет", "Монолог" и "Странная женщина", — он в свои девяносто лет уже не мог сесть и за две недели написать потрясающий сценарий, как это случилось с ним в молодые годы. Но и не писать, не сочинять тоже не мог. Если позволяло здоровье, он почти каждодневно пристраивался за рабочим столом и набрасывал то фрагменты будущего сценария, то небольшие новеллы, воспоминания, эссе, которые он именовал "осколками". Эти "осколки" обладали всеми достоинствами его "большеформатных" творений: в них были видны незаурядное литературное мастерство, цепкость "не замыленного" возрастом глаза, тонкая нюанси-

ровка характеров, встающих на плевом — всего несколько машинописных страниц — пространстве.

Мы охотно публиковали эти "осколки" на протяжении нескольких лет, причем Евгений Иосифович, подобно юному дебютанту, каждый раз трепетно переживал: а справится ли он, подойдет ли написанное им для газеты, ведь время такое бурное (тогда чуть ли не ежедневно полыхали политические митинги и забастовки), а он безнадежно отстал от жизни в своем матвеевском захолустье... Надо ли говорить, что это не только подходило, но проходило в газете "на ура", за исключением разве только вот этого "осколка", который, как теперь припоминаю, на полосе не поместился, оказался "третьим лишним" (два "осколка" тогда были опубликованы), и мы его отложили "до лучших времен".

Лучшие времена все не наступали, а потом Евгения Иосифовича не стало. Помню, я несколько дней кропотливо искал эту новеллу, чтобы опубликовать ее в день сороковин, но она куда-то надежно завалилась (такое в каждодневном редакционном бедламе, увы, иногда случается), и только теперь, спустя уже несколько лет после его кончины, нашлась. Я проверил: в "Последней книге" Евгения Габриловича, вышедшей недавно, этой новеллы нет. Прочитайте ее. Уверен, этот "осколок" остро и больно царапнет ваше сердце своей исповедальной нотой, тонким юмором, пронзительной и горькой правдой жизни. Правдой настоящего искусства, которому Евгений Габрилович служил до последнего дыхания. В буквальном смысле этих слов.

Леонид ПАВЛЮЧИК,
редактор отдела культуры газеты "Труд".



Евгений ГАБРИЛОВИЧ

Трещ.-1997.-16 гек.-С.7

ПУБЛИКУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ

В КРЕСЛЕ ПОД АБАЖУРОМ

— В молодости я был, что называется, весельчаком, — сказал П. — Душой общества. Меня охотно звали на тогдашние вечеринки, потому что я веселил. Был неглуп. Шутки мои смешили. Мысли мои отличались от принятых к оглашению. Мои общественные верования были хотя и марксистскими, но все же такими, которые в чем-то не вполне. Которые веселят за столом, но не избегаются на собраниях.

Я был развеселый, смешной, бойкий, живой, обожаем друзьями и собутыльниками. Девушки тянутся к таким, как я. Впрочем, я был некрасив, и они тянулись ко мне не с любовью, а с дружбой.

Это было обидно. Очень. Однако я с этим мирился. Ведь все же одна какая-нибудь из них влюбится в тебя! Так устроены девушки. Надо подождать. Терпение!

— Так оно и случилось, — продолжал П. — Я женился. Все было, как у всех. Но произошло нежиз-

данное: годы шли, а я все жил, жил и жил. Правда, порой болел. Но каждый раз выздоравливал. А потом опять жил. Жена умерла.

И получилось так, что я пережил всех, кто начал жить в один год со мной, и уже совсем мало тех, кто видел и помнит все то, что видел и помню я, и уже зачеркнуты все телефоны в моей записной тетрадке, а я все дышу и думаю, и стучит (правда, не без перебоев) мое стародавнее сердце. И вышло так, что я зажил на белом свете и мне перепало то, о чем охотно порознь или скопом любят писать фантасты: я вполз в другую эпоху и заглянул ненадолго в грядущую, уже недоступную моим сверстникам, жизнь. Как это произошло? Да проще простого. Я неприметно стал старым, потом очень старым, потом совсем старым-старым, возможно, нет уже на земле человека старше меня. Но легкий нрав сохранился: люблю развеселых, смешливых, добрых людей.

Поспорить, погорячиться, а то и просто вот так посидеть в покое и тишине, трепануться по-стариковски, покидаться словами и мыслями. Но с кем?

— Я натягиваю шубенку и семеню. В гости, — сказал П. — К внучке. Она — единственное, что у меня еще осталось в живых. Чудесная женщина! Судьба улыбнулась ей — девочкам нечасто везет в нашем круговороте. У нее славный, крепкий, достойный муж, бойкий сын, много друзей. Эти друзья собираются к ней по субботам — посидеть, пошуметь, покушать своим, принесенным, пофлиртовать. И расходятся в поздний час, довольные пирогами и пререканиями.

Вот по субботам являюсь к ней иногда и я. Как ни верти, а все-таки она — моя кровь, единственное МОЕ, пребывающее в сохранности.

Ее квартирка набита битком, гул, голоса — вам, конечно, знаком этот пахнущий жареной ку-

рицей шум, что летит к припоздавшему гостю в прихожую. Внучка бросается мне на шею — славная женщина, в ней что-то есть от моего сына, которого уже нет давно. Что-то есть. Немного, но очень родное.

Меня встречают аплодисментами, видно, за то, что я, как ни странно, все же не разучился еще шевелить ногами. Сажусь, приступаю к закуске. Еще раз подходит внучка, опять обнимает меня, наливает рюмаху. Выпиваю. Снова аплодисменты. Сажу и жую.

— А за столом, — сказал П., — вразлет идет жаркий спор. О чем? О чем-то очень большом, но мне уже только на четверть понятном. Возгласы, смех. Выпиваю еще рюмаху. Черт возьми, а чего я молчу? Ведь я же так славно спорил и горячился в бывалые годы. Ведь был же я душой вечеринки. И помню еще до сих пор все шутки, выходки и коленца, которые приносили мне славу. Чего робеть?

Я поднимаю руку, застолье вразброд примолкает, и в уважительной тишине я выдаю шутку, которая потешала нас в молодости. Молчание. Смеюсь я один. Еще шутка. И снова смеюсь я один.

Подходит внучка, милая внучка, которой все так прифартило в жизни — и муж, и сын, и друзья, — и целует меня и гладит по голове, и помогает подняться, и отводит к спокойному креслу под абажуром, и я сажусь, и молчу, и слушаю, и вдруг понимаю, что все пути мои приладятся к тем, что шумят за столом, подлизаться к их жару и хохоту, подмазаться к их хвалам и проклятиям — бесплодны. Я выпал из поколений. Меня уже нет с моей жизнью, бедами, страхами, войнами, паладами, казнями, шутками. Со всем, кого я любил, со всем, что я думал.

Меня нет. Хотя я и сижу в кресле под абажуром.